

ГОРЬКИЙ — Б. Л. ПАСТЕРНАК

Борис Леонидович *Пастернак* (1890—1960) впервые встретился с Горьким в 1905 или 1906 году. Горький был знаком с отцом поэта, известным художником Леонидом Осиповичем Пастернаком, который в 1905 г. встречался с Горьким по делам сатирического журнала «Жупел», а в феврале 1906 г. в Берлине нарисовал портрет писателя (портрет экспонируется в Музее А. М. Горького в Москве).

В 1915 г. Горький поместил в журнале «Современник» драму Г. Клейста «Разбитый кувшин» в переводе Пастернака.

Осенью 1927 г. Пастернак послал Горькому поэму «Девятьсот пятый год» с дарственной надписью. Горький положительно отозвался о поэме, отмечая ее глубокий социальный смысл. Признавая своеобразие дарования Пастернака, Горький отрицательно относился к субъективизму и усложненности его художественного мышления. Горький всегда внимательно следил за творчеством Пастернака, о чем свидетельствуют его пометы на книгах: «Сестра моя жизнь» (Берлин — Пг., изд. З. И. Гржебина, 1923), «Избранные стихи» (М., «Советская литература», 1933) и других сборниках стихов, хранящихся в личной библиотеке писателя. Осенью 1935 г. Горький просил И. Груздева выслать ему «переводы Пастернака с грузинского» (АГ).

Ниже публикуются четыре письма Горького и восемь писем Пастернака.

В приложении печатается предисловие Горького к предполагавшемуся американскому изданию повести Пастернака «Детство Люверс», а также дарственная надпись на книге «Жизнь Клина Самгина», ч. 1. Берлин, «Книга», 1927, опубликованная в т. 30 (№ 881) в качестве письма Горького.

1

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

〈Москва. 5 февраля 1921 г.〉

Дорогой Алексей Максимович!

Однажды я по пустячному поводу, без основания и несправедливо поднял ненужную и глупую историю о правке «Разбитого кувшина»¹. Вы, наверное, уже ничего не помните, и это письмо, м〈ожет〉 б〈ыть〉, удивит вас и покажется непонятным. Но дайте мне выложить то, что на душе у меня, я его пишу не для вас, а для себя. Я страшно виноват перед вами, я без вины перед вами виноват, и этой вины я ни изжить, ни искупить не в состоянии: не знаю как. Горечь этого сознания не оставляет меня, особенно ужасно мне было первое открытие этой моей вины, которой я за собой раньше не знал, — я вам пишу чистосердечно, т〈о〉 е〈сть〉 без преувеличений, и говорю: вина, ее и разумею, как бы противоречиво это ни казалось, как бы ни просилось на язык логически более удобное «недоразумение». Если бы я оправдывался (хотя бы перед самим собою), психологические условия моей роковой оплошности могли бы иметь значение, — но оправдаться я никак не надеюсь — тут важен результат, тут важно то, что в сумме целого ряда несчастных случайностей я оказался несмыслаемо виноватым перед вами, вот и всё. И оттого я называю это виною. Так оно и есть. Я вам пишу о своем горе, дочтите письмо до конца.

Никогда в жизни я так не бледнел от чувства непоправимости при внезапном каком-нибудь известии, как в тот вечер 18 года, когда летом я вер-

нулся от вас после первого моего посещения и узнал то, что уже три года влачил за собой, того не зная. Я себе места не находил от этого чувства и бросился вам писать. Но это так некстати и так досадно сплелось с тем, что я у вас по делу был, что этот шаг, такой необходимый и такой единственный, показался мне немислимым, невозможным. Я не знаю, за что судьба послала мне этот случай. Но я не преувеличиваю его тягостности: чувство это, как сознание проклятья, пошло трещиной по всему моему миру, раздвоив все то, чем приходится жить, когда пишешь. И я не каюсь вам. В чем мне каяться? И не винюсь. Какое тут может быть извиненье? Но эта роковая бессмыслица, отравившая мне мое отношение к двум людям, с этой бессмыслицей связанным: к себе и к вам, к себе в особенности (о хаотической путанице, царящей в последнем чувстве, уже совсем нестерпимом, мне нет надобности говорить) — эта бессмыслица мне не под силу. Я это опять испытал, будучи у вас по просьбе Пильняка ². Мне кажется, что когда вы узнаете все это, у меня станет чище и яснее на душе. Письмо это я передам лично: я знаю, что вы его получите. Считаться с этим письмом вам не надо. Я знаю, что оно покажется вам отвратительным — это сознание мое — лишний пример того, как множится и плодится бацилла этой моральной горечи во мне: как в ней ни двинься, куда ни глянь, ее растишь, ее множишь: это линия безвыходности, всякий выход из которой только ее удлинит. Что ж делать? Но надо было, чтоб вы это узнали. Если б я вам рассказал, как двойственно и как несчастно сложился мой «литературный путь» после этого случая, вы бы увидали, как планомерно и последовательно казнит жизнь за всякий поступок, сделанный без согласия с характером человека, т(о) е(сть) за всякую нечаянность, оплошность, за все то, словом, за что может винить человека только мысль мистика. За недоразуменье.

Ваш Б. Пастернак

5.II.21.

¹ Перевод комедии Г. Клейста «Разбитый кувшин», опубликованный в журнале «Современник» (1915, № 5), был Горьким отредактирован и значительно улучшен, по позднейшему признанию самого Пастернака. Но в то время Пастернак, не зная, что правка принадлежит Горькому, в письме от 8 мая 1915 г. заявил редакции резкий протест против изменений, внесенных в текст. «Прошу препроводить прилагаемое заказное письмо Алексею Максимовичу, который, как я слышал, руководит художественным отделом „Современника“», — писал Пастернак (ЦГАОР, ф. 1167, оп. 1, ед. хр. 2991).

² Как явствует из письма Б. Пильняка к Горькому от 22 февраля 1920 г., Пильняк просил Пастернака осведомиться у Горького относительно возможности публикации его нового романа в альманахе «Дом искусств» (АГ).

2

ГОРЬКИЙ — ПАСТЕРНАКУ

〈Сорренто. 4 октября 1927 г.〉

Дорогой Борис Леонидович —

получил книжку ваших стихов ¹, сердечно благодарю вас!

Кстати, извещаю, что «Детство Люверс» переведено на английский язык и, вероятно, в ближайшие недели выйдет из печати в Америке ². Условий перевода и издателей я еще не знаю, узнав — немедленно сообщу вам. Я немало слышал о том, как вы живете, от Зубакина и Цветаевой ³, но они не могли сказать мне, пишете ли вы прозу? Очень хотелось бы этого, ибо, судя по «Детству», вы можете писать отличные книги.

Всего доброго. И еще раз — спасибо!

А. Пешков

4.X.27. Sorrento.

¹ Борис Пастернак. Девятьсот пятый год. М.—Л., Госиздат, 1927.

Книга была послана с дарственной надписью: «Алексей Максимович Горькому, величайшему выражению и оправданию эпохи с почтительной и глубокой любовью. Б. Пастернак. 20.IX.27. Москва» (ЛБГ).

² Повесть Пастернака «Детство Люверс» в переводе на английский язык М. И. Будберг должна была выйти в свет с предисловием Горького (см. приложение) в издательстве «Robert M. Bride and Company. New York». Издание не осуществилось.

³ Борис Михайлович Зубакин (1894—1937) — археолог, поэт-импровизатор, и Анастасия Ивановна Цветаева (р. 1894) — писательница и переводчица — были в гостях у Горького в Сорренто в августе 1927 г.

3

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

⟨Москва.⟩ 10.X.27.

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо благодарю вас за письмо. Ваше обещание сообщить мне дальнейшие подробности относительно перевода «Д⟨етства⟩ Л⟨юверс⟩» смутило меня до крайности. В неловкости, которое оно для меня несет, я неповинен. Неужели не найдется никого другого, кто бы это сделал вместо вас? Ваш рабочий день для всех нас драгоценен. Легко вообразить, сколько на него делается отовсюду покушений. Вы у всех на виду и, вероятно, связаны дружеской перепиской с лучшими людьми мира. Вы в родстве и перекличке с крупнейшими его событиями. Можно догадаться, с какой бесцеремонностью и в каком числе забрасывают вас всякими просьбами и вопросами отсюда. Ведь каждый тысячный считает себя первым и единственным, произведения же ваши, обращенные к человеку без обиняков и околичностей, вероятно развязывают в русском читателе его исконную сущность, и он, *тоже* не чинясь и точно делая вам этим честь, тотчас лезет к вам в прямые собеседники. К этому надо прибавить вашу удивительную отзывчивость и редкую заботливость о людях, примеры которой и у меня перед глазами. Пополнять эти ряды, даже и с вашего согласия, я считал бы преступлением. Ради бога, бросьте мысль о «Детстве Люверс» и в том случае, если только этой мысли я и обязан переводом вещи.

Выставляя себя таким непритязательным, я себе как будто противоречу. Я послал вам книжку ¹, и, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, на ваш отклик рассчитывал. Но вот и точные границы моей претензии. Я не мог не послать ее вам. О посылке вам первому и более, чем кому-либо другому, именно этой книги я мечтал, когда еще только собирал ее для отдельного издания. Определяющие мотивы этой мечты мне хотелось выразить в надписи вам, но, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, это не удалось мне. Взволноваться вами как писателем особой заслуги не составляет. Проглотить в два долгих вечера «Артамоновых», не отрываясь, это *только* естественно для всякого, кто не кривит натурой и не создал себе искусственной чувствительности взамен прирожденной и наличной. Однако эта естественная читательская благодарность тонет у меня в более широкой признательности вам как единственному, по исключительности, историческому олицетворению. Я не знаю, что бы для меня осталось от революции и где была бы ее *правда*, если бы в русской истории не было вас. Вне вас, во всей плоти и отдельности, и вне вас, как огромной родовой персонификации, прямо открываются ее выдумки и пустоты, частью приобщенные ей пострадавшими всех толков, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ лицемерничающим поколением, частью же перешедшие по революционной преемственности, тоже достаточно фиктивной. Дышав эти десять лет вместе со всеми ее обязательной фальшью, я постепенно думал об освобождении. Для этого революционную тему надо

было взять исторически, как главу меж глав, как событие меж событий, и возвести в какую-то пластическую, несектантскую, общерусскую степень. Эту цель я преследовал посланной вам книгой. Если бы я ее достиг, вы скорее и лучше всякого другого на это бы откликнулись. Вы о ней не обмолвились ни словом, — очевидно попытка мне не удалась. Еще раз горячо благодарю вас за письмо. Трудно говорить о неудаче без некоторой печали в голосе. Но вы бы ее только усугубили, если бы в моих последних словах прочли что либо подобное упреку. Откуда и быть ему. Не сердитесь на неприлично-скупую запись полей ².

Глубоко вам преданный

Б. П а с т е р н а к

¹ «Девятьсот пятый год». См. письмо 2.

² Последние строки письма написаны на полях.

4

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

⟨Москва⟩ 13.X.27.

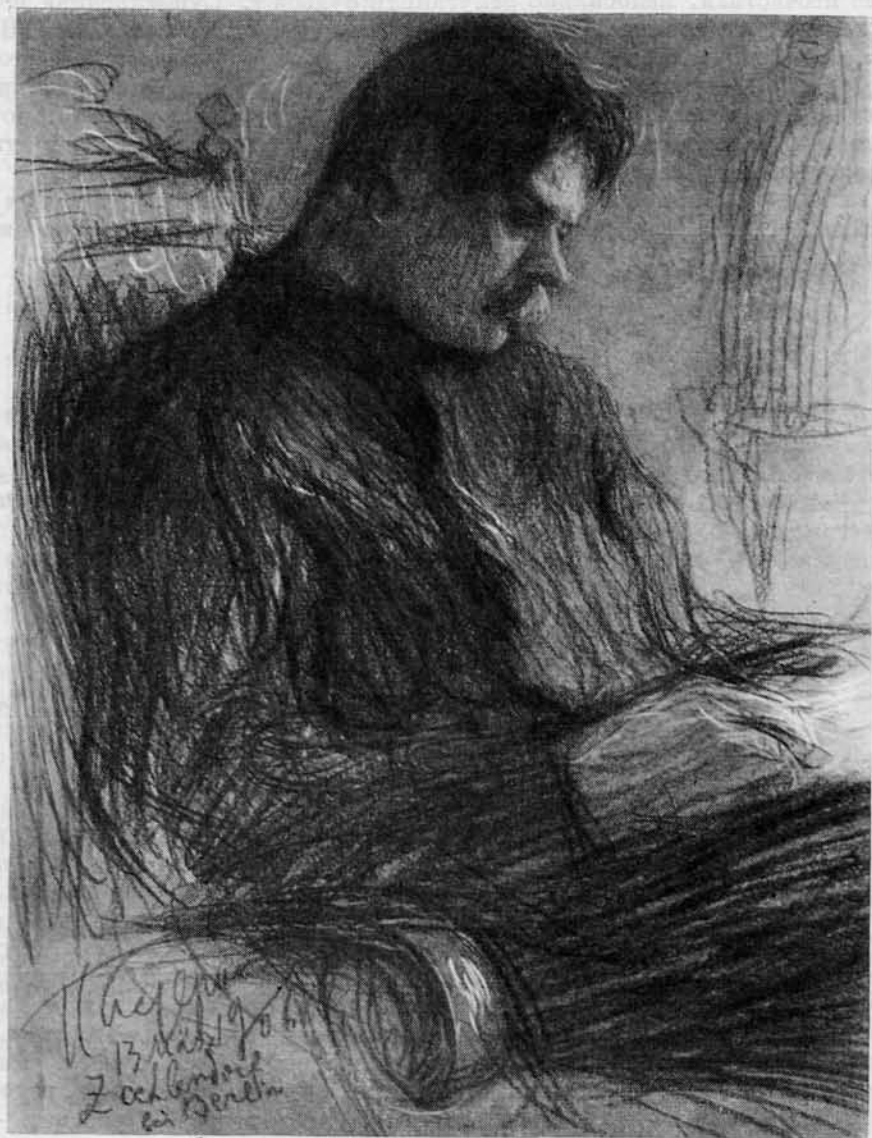
Дорогой Алексей Максимович!

Приехала Ан⟨астасия⟩ Цветаева¹, и я спешу загладить несколько оплошностей, допущенных во вчерашнем письме ² по незнанию. Прежде всего я глубоко признателен Марии Игнатьевне ³ за перевод «Люверс». На эту тему я говорил, как о какой-то далекой, заокеанской вещи. Ничего дурного я этим не сказал, но именно в этом упоминании факта, находящегося под вашей крышей, в холодно-неопределенном тоне безразличного неведения и заключена неловкость, и вы мне ее простите. Об этом же прошу и Марию Игнатьевну.

Ан⟨астасия⟩ Ив⟨ановна⟩ передала мне вскользь и ваше впечатление от «Девятьсот пятого года». Мое предположение подтвердилось, и если бы я об этом узнал вчера, я бы его не стал высказывать вам в виде догадки. Я знаю, как неприятно бывает говорить человеку, что его работа не годится или тебе не нравится. Как ни счастлив я был бы получить от вас еще одно письмо, я еще более хотел бы вас уверить в сказанном уже вчера. Среди случаев, когда вы жертвуете своим временем и силами в чужую пользу, попадаются и стоящие, серьезные. Мой пока не из таких. Я не жду от вас ответа. Если в нем явится неизбежная и крайняя надобность, я сам вам об этом напишу.

Еще одна неотложная поправка. Не понимаю, как это могло случиться. Цветаева и Зубакин, между прочим, как-то рассказывали вам о моем житье-бытье. В том бедственном виде, в каком они вам его представили, оно было года два еще назад, однако от этих трудностей теперь ни следа не осталось. Переменной этой я как раз и обязан «1905-му году». Теперь я не только не нуждаюсь, но иногда имею возможность помогать и другим в нужде. В этом неприятном недоразумении кругом виноват я. Очевидно я не умею с таким же красноречием радоваться удачам, с каким, видно, жалуясь на препятствия.

Алексей Максимович, оснований моей душевной благодарности вам — не перечислить. Иных я и не вправе касаться. Горячо вас за всё благодарю. Кроме того, кто еще лучше вас знает природу прямых человеческих связей и их дальнейших случайных ветвлений! Поэтому я ложных сближений на мой счет с вашей стороны не боюсь.



ГОРЬКИЙ

Рисунок цветным карандашом Л. О. Пастернака, Целендорф близ Берлина, 1906 г.
Музей Горького, Москва

В том узле лиц и фактов, которого вы с таким великодушием этим летом коснулись, важно и близко мне огромное дарование Марины Цветаевой и ее несчастная, непосильно запутанная судьба⁴. Существенная и в отдельности, Ан<астасия> Ив<ановна> во многом родная сестра ей. Вот и всё, поскольку может быть речь обо мне. Роль же и участь первой, то есть М<арины> Ц<ветаевой>, таковы, что если бы вы спросили, что я собираюсь *писать* или делать, я бы ответил: все, что угодно, что может помочь ей и поднять и вернуть России этого большого человека, м<ожет> б<ыть> не сумевшего выровнять свой дар по судьбе или, вернее, обратно. — Я не имел еще возможности прочесть «Жизнь Климса Самгина». Это моя ближайшая мечта. Если разрешите, я запишу то, что эта книга во мне зовет.

Преданный вам

Б. Пастернак

¹ См. письмо 2, прим. 3.

² Имеется в виду письмо 3.

³ Мария Игнатьевна Будберг.

⁴ Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) в 1922 г. уехала за границу, где сотрудничала в различных эмигрантских изданиях. В 1939 г. вернулась в СССР.

5

ГОРЬКИЙ — ПАСТЕРНАКУ

<Сорренто. 18 октября 1927 г.>

Дорогой мой Борис Леонидович —

я ничего не сказал о вашей книге стихов¹, потому что не считаю себя достаточно тонким ценителем поэзии и потому еще, что уверен: похвалы уже надоели вам. Но теперь, когда вам показалось, что я промолчал из нежелания сказать вам, что книга будто бы неудачна, я говорю: это — не так. Вы ошиблись. Книга — отличная; книга из тех, которые не сразу оценивают по достоинству, но которым суждена долгая жизнь. Не скрою от вас: до этой книги я всегда читал стихи ваши с некоторым напряжением, ибо — слишком, чрезмерна их насыщенность образностью и не всегда образы эти ясны для меня; мое *воображение* затруднялось вместить капризную сложность и часто — недоочерченность ваших образов. Вы знаете сами, что вы оригинальнейший творец образов, вы знаете, вероятно, и то, что богатство их часто заставляет вас говорить — рисовать — чересчур эскизно. В «905 г.» вы скупее и проще, вы — классичнее в этой книге, насыщенной пафосом, который меня, читателя, быстро, легко и мощно заражает. Нет, это, разумеется, отличная книга, это — голос настоящего поэта, и — социального поэта, социального в лучшем и глубочайшем смысле понятия. Не стану отмечать отдельных глав, как, например, похороны Баумана, «Москва в декабре» и не отмечу множество отдельных строк и слов, действующих на сердце читателя горячими уколами.

«Детство Люверс» выйдет в Америке весной, вместе с книгой О. Форш «Одеги камнем»².

Что вы теперь пишете? Как живете?

У меня гостил месяца два знакомый ваш — Зубакин³, который, по письмам его, показался мне человеком интересным и талантливым, но

личное знакомство с ним очень разочаровало и даже огорчило меня. Человек с хорошими задатками, но совершенно ни на что не способный и — аморальный человек.

Еще раз — благодарю за книгу.

Крепко жму руку.

А. Пешков

18.X.27. Sorrento.

¹ См. письмо 2, прим. 1.

² См. письмо 2, прим. 2. Книга О. Д. Форш «Одеты камнем» также должна была выйти в свет с предисловием Горького в издании «Robert M. Bride and Company. New York». Издание не было осуществлено.

³ См. письмо 2, прим. 3.

6

ГОРЬКИЙ — ПАСТЕРНАКУ

〈Сорренто. 19 октября 1927 г.〉

Сегодня послал вам письмо ¹, дорогой Б〈орис〉Л〈еонович〉, и получил ваше второе ². Вы сообщаете, что Цветаева «передала вскользь» мое «впечатление» о «905 г.» и «подтвердила» ваше «предположение». Из моего второго письма вам вы, конечно, видите, что не «подтвердила». Но она подтвердила сложившееся у меня представление о ней как человеке слишком высоко и неверно оценившем себя и слишком болезненно занятом собою для того, чтоб уметь — и хотеть — понимать других людей. И она, и Зубакин, кроме самих себя иной действительности не чувствуют, и к рассказам их о ней следует относиться с большой осторожностью.

Говоря о стихах ваших, я, кажется, забыл сказать, что — на мой взгляд — «образность» их нередко слишком мелка для темы, чаще — капризно не совпадает с нею, и этим вы тему делаете неясной. А затем я думаю, что вы всю жизнь будете «начинающим» поэтом, как мне кажется по уверенности вашей в силе в〈ашего〉 таланта и по чувству острой неудовлетворенности самим собою, чувству, которое весьма часто звучит у вас. Это — хорошо. С в〈ашей〉 высокой оценкой дарования Марины Цв〈етаевой〉 мне трудно согласиться. Талант ее мне кажется крикливым, даже — истерическим, словом она владеет плохо и ею, как А. Белый, владеет слово. Она слабо знает русский язык и обращается с ним бесчеловечно, всячески искажая его. Фонетика, это еще не музыка, а она думает: уже музыка. Я не могу считать стихами такие штуки, как:

Глаз явно не *туляю*
Сквозь ливень — *перюся*
Венерины куклы
Вперяйтесь.

Такого у нее — много.

И, м〈ожет〉 б〈ыть〉, еще хуже такое:

Я не более, чем животное,
Кем-то раненное в живот.

или:

Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная
Именуемая душа³,

или:

Горловых — горловых ущелий
Ржавь, живая соль...
Я любовь узнаю по щели,
Нет! — По трели
Всего тела вдоль ⁴.

М. Цветаевой, конечно, следовало бы возвратиться в Россию, но — это едва ли возможно.

«Самгина» у меня уже нет. Скоро получу московское издание ⁵ и пошлю вам. А вы мне, пожалуйста, пришлите ваши «Стихи», объявление о выходе которых напечатано на обложке 10-й книги «Красной нови» ⁶.

Крепко жму руку.

А. Пешков

19.X.27.

Sorrento.

¹ См. письмо 5.

² См. письмо 4.

³ Цитаты из «Поэмы конца», напечатанной в сб. «Ковчег», Прага, изд. «Пламя», стр. 19 и 28 (см. также Марина Цветаева. Избранное. М., Гослитиздат, 1961, стр. 276, 287).

⁴ Цитата из стихотворения «Приметы». (Марина Цветаева. «После России», Париж, 1928, стр. 138—139).

⁵ М. Горький. Жизнь Клима Самгина (Сорок лет), ч. I. М., Госиздат, 1927.

⁶ Б. Пастернак. Две книги. Стихи. М.—Л., Госиздат, 1927.

7

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

〈Москва.〉 25.X.27.

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо благодарю вас за письмо¹, — на него надо бы отвечать телеграммой из одних коротких, порывистых глаголов. Вы знаете, что меня им осчастливили, — так и писали. Оттого я и был неуверен насчет вещи, и ваше недовольство ею представлялось мне легко вероятным, что ради нее я покинул привычную мне область неотвязной субъективности: вы же прежде всего огромный художник, и, следовательно, неумеренный, неловко ученный или плохо пережитый отход от нее (как бы частная форма этой субъективности ни была вам далека) мог вас оттолкнуть как ложное вообще творческое поползновение. Но, значит, это не так, и радости моей нет конца.

Письмом вашим горжусь в строгом одиночестве, накрепко заключаю в сердце, буду черпать в нем поддержку, когда нравственно будет приходится трудно.

Пишу сейчас, потеряв голову от радости, точно пьяный, — не мой почерк, и, наверно, пишу нескладицу: не судите сегодняшних моих слов литературно.

Ради бога, не пишите мне, не тратьте на меня время и не создавайте мне праздника на самых буднях. Когда надо будет, я сам, нарушая эту просьбу, вас о том попрошу.

Цветаева рассказывает о вас с большим упоением, с глубиной, со способностью постижения и с хорошей, никого не унижающей, преданностью². Зубакина не видал, но о роде нашего знакомства вы успели догадаться по моим умолчаниям. Теперь, после ваших слов о нем, не будет с моей стороны предательства, если я скажу, что встреч с ним избегаю давно и насколько возможно. Я не знаю, что вы разумели, назвав его аморальным. Надо сказать, что о нем ходит сплетня, определенно вздор-

ная, и мне кажется, что он сам ее о себе распускает. Я почти убежден в этом, да это и в духе его психологического типа. Ведь весь он из алхимической кухни Достоевского, легче всего его себе представить в Павловске на даче у Мышкина. Это надо сказать в его защиту. Он очень изломан, но никакой подлостью, ни в малейшей мере не запятнан. Я избегал его не из-за этих слухов, а оттого, что всякая встреча с ним ставит в нестерпимое положение особой двойственности. Человек ведет себя так, точно он призван *только* поражать и правиться (если такое призвание вообще мыслимо!!), а, между тем, менее всего в *естественную тайну* настоящего воздействия посвящен. Будто он никогда и не нюхал того, чем сам хочет пахнуть. Мы даже никогда не знакомились с ним. Он мне однажды *представился*, с визитной карточкой и чепухой, точно высочив на пружине из трескучей потешной коробки. Между тем даже и этот скачок уже поража́л какой-то несоответственностью, глубоко меня переко́нфузившей. По всему смыслу его подорожной, т<о> е<сть> его склонностям и притязаниям, менее всякого другого ему было позволительно выскакивать из коробки. Избытком треска одно время, под его вероятным влиянием, страдала и А<настасия> И<вановна>.

Простите меня за это путаное письмо и по его беспорядку судите о действии вашего одобрения. От всего сердца желаю вам всего наилучшего и легких, больших дней.

Ваш Б. П.

¹ См. письмо 5.

² См. воспоминания А. И. Цветаевой «Из книги о Горьком», опубликованные в «Новом мире», 1930, №№ 8—9, под псевдонимом А. Мейн.

8

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

〈Москва.〉 16.XI.1927.

Дорогой, дорогой Алексей Максимович!

Случайно позвонил Екатерине Павловне, узнав, что она приехала ¹, и от нее узнал, что вы больны. Плюньте на нас порознь или всех вместе взятых и поскорее выздоравливайте. Забудьте всю ту скуку и чепуху, которую нагоняли на вас мои письма, хотя бы в той малой доле, какой они занимали ваше внимание. Верю в ваше скорое выздоровление и о состоянии вашего здоровья буду справляться у Екатерины Павловны. Всего, всего вам лучшего от всего сердца. «Клима Самгина» недавно достал и читаю урывками, вы не поверите, но письмами и рукописями из провинции завален даже и я, работать почти не приходится, и «Самгиным», как и своей работой, я жертвую слабым взрослым людям, нуждающимся в няне и за этим обращающимся ко мне. Ах, ведь и все наше недоразумение ² из этого же круга, и как вы этого не поняли!! Но по поводу «Самгина» в данный миг, на этой странице, следующее. Всей живой первой частью он разбрелся впрок, под вторую часть, когда грянет гром и заскачат молнии над его пастбищным досугом. Вся их судьба в ней, во второй части, отложенной в эти дни в сторону, на каком-то отдалении от постели. Так вот, в начатки этой рукописи, где-то лежащей, в той ли же комнате или в соседней, я верю безгранично и больше чем в в<ашего> врача и лекарства, которые он вам прописывает. Полное ваше исцеление и поправка придут из того угла, где она находится. Если бы я мог, я бы написал вашей второй части, как женщине, которая вас завтра поставит на ноги. Еще раз, наискорейшего вам выздоровления. Если письмо застанет вас оправившимся, то опять, как в лучшие дни переписки, прошу вас, *не занимайтесь мной*,

я все знаю и почувствую, а вы на меня время не тратьте, и будьте здоровы, о вас узнаю у Екатерины Павловны. Простите за эту новую истерику, но сегодня не могу иначе.

Весь ваш Б. П.

¹ Е. П. Пешкова приехала из Сорренто в Москву 21 октября 1927 г.

² См. письмо 12, прим. 2.

9

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

〈Москва.〉 23.XI.27.

Дорогой Алексей Максимович!

В последний раз нарушаю ваше запрещение, следуя побуждению несравненно сильнейшему, чем до сих пор. После этого раза я все равно бы надолго замолк, и без вашей просьбы. Ко многому из того, что я постараюсь тут сказать вам, я был готов наперед. Но я не мог предвидеть, что растяну и частью разорву себе плечевые связки на левой руке, что необходимость полной и продолжительной неподвижности, выведя меня из привычного строя, даст мне случай прочесть «Клима Самгина» почти без перерыва и что писать я об этом буду, преодолевая отчаянную физическую боль.

Прежде всего горячее и восхищенное спасибо вам за всю громадную 5-ю главу¹, этот силовой и тематический центр всей повести. Чем она замечательна помимо своей прямой, абсолютной художественности? Характеристика империи дана в ней почти на зависть новому Леонтьеву², т<о> е<сть> в таком эстетическом завершении, с такой чудовищной яркостью, захватывающе размещенной в отдалении времен и мест, что образ непреодолимо кажется величественным, а с тем и прекрасным. Но чем более у него этой неизбежной видимости, тем скорее он тут же, на твоих глазах, каждой строчкой своей превращается в зрелище жути, мотивированного трагизма и заслуженной обреченности. Именно неуловимостью атмосферных превращений этого удущья, с виду недвижимого (почти монументального) и потрясает эта глава и остается в памяти. И я не о Ходынке только. Исход романа Клима с Лидией, как одновременность, тоже треплется, сыреет и сохнет на том же воплощенном воздухе. Этим и гениальна глава, то есть тем, что существо истории, заключающееся в химическом перерождении каждого ее мига, схвачено тут, как нигде, и передано с насильственностью внушения.

Странно сознавать, что эпоха, которую вы берете, нуждается в раскопке, как какая-то Атлантида. Странно это не только оттого, что у большинства из нас она еще на памяти, но в особенности оттого, что в свое время она прямо с натуры изображалась именно вами и писателями близкой вам школы как бытовая современность. Но как раз тем и девственнее и неисследованнее она в своем новом, теперешнем состоянии, в качестве забытого и утраченного основания нынешнего мира, или, другими словами, как дореволюционный пролог под пореволюционным пером. В этом смысле эпоха еще никем не затрагивалась. По какому-то странному чутью я не столько искал *прочитать* «Самгина», сколько *увидать* его и в него взглянуть. Потому что я знал, что пустующее зияние еще не заселенного исторического фона с первого раза может быть только заброшено движущейся краской, или, по крайней мере, так его занятие (оккупация) воспринимается современниками. Пока его необитаемое пространство не запружено толпящимися подробностями, ни о какой линейной фабуле не может быть речи, потому что этой нити пока еще не на что лечь. Только

такая запись со многих концов разом и побеждает навязчивую точку эпохи как единого и обширного воспоминания еще блуждающего и стучащегося в головы ко всем, еще ни разу не примкнутого к вымыслу. Благодаря тому, что современный читатель хотя бы в этой памятной причастности притянут к душевному поводу произведения, он его оценивает в некотором искажении. Он недооценивает его сюжетности и порядка. М<ожет> б<ыть>, он переоценивает его историчность, т<о> е<сть> какую-то предварительность, в чей-то или какой-то прок и не догадывается, что в этом ощущении сам он, читатель, чувствует впрок *потомству*. Он забывает, что следующее же поколение воспримет Самгиных и Варавку, т<о> е<сть> оба этажа первой главы и неназванный город кругом дома как замкнутую самоцель, как пространственный корень повествования, а не как первую застройку запущенной исторической дали, не как явочно-случайную запись белого анамне<с>тического полотна. Однако aberrация современников так естественна, что, не гнушаясь ею, позволительно судить



ВИЛЛА «ИЛЬ СОРИТО» В СОРРЕНТО. ЗДЕСЬ ГОРЬКИЙ ЖИЛ В 1924—1933 гг.

Рисунок карандашом А. Д. Корина, 1932 г.

Музей Горького, Москва

даже под ее углом. Даже в том случае, если допустить, что работа сделана во облегчение чьего-то нового приступа (пускай и вашего, во второй, м<ожет> б<ыть>, части), ваш подвиг не умаляется в своей *творческой колоссальности*, т<о> е<сть> в каком-то элементе, который я бы назвал *поэтической подоплекой* прозы. Какова же радость, когда за пятой главой вдруг открывается, что она-то и является этим отнесенным в даль гаданий новым приступом, когда видишь, что он уже сделан. — Мне сейчас очень трудно писать, да, вероятно, не легко и думать, п<отому> ч<то> по ночам я не сплю. «Самгин» мне нравится больше «Артамоновых», я мог бы ограничиться одним этим признанием. Однако, вдумываясь (просто для себя) в причины художественного превосходства повести, я нахожу, что ее достоинства прямо связаны с тем, что читать ее труднее, чем «Д<ело> А<ртамоновых>», что, обсуждая вещь, с интересом и надеждой тянешься к оговоркам и противоположениям, короче говоря, высота и весомость вещи в том, что ее судьба и строй подчинены более широким и основным законам духа, нежели беллетристика бесспорная.

Отнюдь не в пояснение сказанного, но просто по невольности, с какой это мне припомнилось, расскажу другой случай. По тому, как тут носились с «Митиной любовью»³, по сознанию того, что может написать Бунин, и по многому другому, я начал читать книгу с понятным волнением, наперед расположенный в ее пользу. Красота изложения, наповину бесследно прошедшая мимо меня, оставила во мне отзвук *пустоты* и психологической загадки. И это после всего! После всего, перенесенного хотя бы автором, нет — именно им! Не поймите меня превратно. Не

сюжет наперед я навязывал ему или разочаровывался выбором темы. Нет, нет. Героя и его чувство разом я принял с благодарностью как данность, в смутно нетерпеливом предвидении того, чем будет автор в дальнейшем мерить жизнь и как трактовать ее фатальность. Я простил бы ему сколь угодно чуждый комментарий, объяснимый биографически, я ждал, что разверзнутся небеса и устами писателя заговорит онтология средневековья; я ждал, что на меня пахнет *хоть чем-нибудь* из того, чего недавно нельзя было позволить себе здесь и что огульно, на круг, называют мистикой или идеализмом. Я не требовал от него историзма в смысле глубокой и далеко идущей летописности, но то, что он, историк, «обыкновенные истории» продолжает рассказывать так же, как во времена, когда об их прямом родстве не догадывались, это было неожиданностью полной, решающей и разочаровывающей вчистую.

Не могу больше писать и сейчас брошу. Я не знаю, близки ли будут вам мои слова о «Самгине», и скорее думаю, что весь круг моих рассуждений вам чужд и ничего вам не скажет. Вы как-то ложно воспринимаете меня, но, как я уже сказал, я знаю, что это выправится в свое время. Но у меня к вам есть просьба. Не отказывайтесь от обещания и пришлите мне «Клима Самгина». Пожелайте мне чего-ниб<удь> хорошего в надписи, пусть это будет даже правоучение. Это было бы огромной радостью для меня. И горячее спасибо за прочитанное.

Ваш Б. П.

Прочитав, вижу, что изложил ничтожную долю того, что хотел сказать. И вообще не умею писать письма.

¹ 5-ю главу 1-й части романа «Жизнь Клима Самгина».

² Константин Николаевич Леонтьев (1831—1891) — реакционный писатель и публицист.

³ И. Б у н и н. Митина любовь, Л., «Книжные новинки», 1926.

10

ГОРЬКИЙ — ПАСТЕРНАКУ

<Сорренто. 28 декабря 1927 г.>

Асеев давно уехал отсюда ¹, а так как московского адреса его я не знаю, то ваше письмо к нему пересылаю вам, Борис Леонидович.

Вчера послал вам «Жизнь Самгина» ², раньше не мог, не было книги. Вместе с этим письмом посылаю XIX т. ³

Асеев оставил мне ваши «Две книги» ⁴, прочитал их. Много изумляющего, но часто затрудняешься понять связи ваших образов и утомляет ваша борьба с языком, со словом. Но, разумеется, вы — талант исключительного своеобразия.

Очень понравился мне Асеев, хороший человек, и много он может сделать хорошего, кажется мне.

Будьте здоровы.

А. П е ш к о в

28.XII.27.

¹ Асеев гостил у Горького в Сорренто в ноябре 1927 г. (см. воспоминания Н. Асеева «В гостях у Горького». — В кн.: «Горький. Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком», под ред. И. Груздева. М. — Л., Госиздат, 1928).

² «Жизнь Клима Самгина», ч. I. М., Госиздат, 1927.

Эта книга была послана Б. Л. Пастернаку с дарственной надписью (см. приложение).

³ А. М. Горький. Собр. соч., т. XIX. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Берлин, «Книга», 1927.

⁴ См. письмо 6, прим. 6.

11

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

<Москва.> 4.I.1928.

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо вас благодарю за подарок. Нелепая прихоть иметь от вас надпись в виде пожелания явилась у меня в самом разгаре очень докучливой и мучительной болезни, когда наша физиология становится суеверной и даже пожеланию выздоровления радуешься как близкому его наступлению. Вероятно, эта потребность передалась вам, потому что, взяв тему шире, вы все же в надписи пошли по ее направлению, пожелав мне выздоровления и в моей работе, которая вам кажется без надобности сложной и надломленной. У вас обо мне ложное представление. Я всегда стремился к простоте и никогда к ней стремиться не перестану. — Я со смешанным чувством читаю вашу, несмотря ни на что, все же дорогую надпись. Мне грустно, что привет в ней омрачен какой-то долей осуждения и что мое чутье отказывается решить, насколько симпатия в ней уравновешена антипатией. Что-то в моих словах очевидно до вас не доходит, и уже от того одного остальное обречено на постоянные превратности. Еще раз спасибо.

Ваш Б. П а с т е р н а к

12

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

<Москва. Начало апреля 1928 г.>

Дорогой Алексей Максимович!

Так как уже и конверт, покрытый вашей рукой, приводит в понятное волнение, то письма ваши читаешь всегда почти превратно, т<о> е<сть> с готовой уже и преувеличенной чувствительностью. Перечтя последнее ваше письмо (где об обеих Цветаевых и т. д.)¹, я поздно увидал, что в нем совсем нет тех нот, которые до пугающей явственности почудились мне в нем при первом чтении, и понял, что я ответил вам глупо, с тою именно истерикой, которую вы так не любите. Я не раскаиваюсь ни в одном из движений, сложивших мое нелепое письмо, — взять под защиту от вашего гнева всякого, кого бы он косвенно, через меня, ни коснулся, было и остается моим трудным долгом перед вами, — но в том-то и нелепость, что, м<ожет> б<ыть>, вы этих движений вызывать не думали, и я неправильно понял вас².

Последнее время часто в газетах читаешь адреса и приветствия вам и во всех них разноречивые даты³. Наверное вы считаете все это докучливой пошлостью и на всех поздравителей сердиты. Однако, может быть, за далью, от вашего взгляда ускользнуло, как разительно в вашем случае все эти юбилейные тексты отличаются от извечно знакомого нам академического трафарета. Я не видал ни одного, где не жила бы, и отдельными местами не находила себя, выраженная, особая, в каждом данном случае, прямая, неповторяющаяся задетость. Так же точно, к примеру, взволновала меня вся первая, историческая часть правительственного манифеста⁴. И тут горячность правды либо рвет риторический наигрыш, либо вдруг в фальшивом ложе периода находит себе свободное, некрасноречивое место.

И так как рокошующая пошлость этой условности в вашем случае опрокинута даже фраками и крахмальными грудями, то в ту же дверь ломлюсь

и я. И вот — без красноречивых фигур. Я за несколько тысяч верст от вас. Я могу подумать и передумать. Я могу написать слово и зачеркнуть. *Так именно* мне и хочется поздравить вас, медленно, медленно, в нестесненном раздумье, с неторопливым отбором предвидений и пожеланий. Все они стекаются в одно. Оно уже давно готово. Как только его назвать? — Ну, так вот. Я желаю вам, чтобы чудо, случившееся с нашей родиной, успело в возможнейшей скорости обернуться своей особой давно заслуженной чудесной гранью лично к вам. Чтобы огромная, черная работа, взваленная в России на писателя, когда он крупен своим сердцем и своим истинным патриотизмом, была, видимо, для вас, сделана современным русским мыслителем, историком, публицистом. Чтобы дикая миссия работы за всех была снята с вас и вы могли бы дать волю вашему безошибочному воображению, избавленные от надобности исправлять чужие ошибки. Вот, в намеке, глубочайшее мое пожелание вам. Но и в ряду близких, желающих вам радости, здоровья, счастья и долголетия, позвольте мне быть не последним.

Преданный вам Б. П.

Датируется по упоминанию юбилейного приветствия.

¹ См. письмо № 6.

² Пастернак говорит о своем письме Горькому от 27 октября 1927 г., в котором он «взял под защиту» А. И. и М. И. Цветаевых (АГ). После этого письма переписка на время была прервана, о чем содержатся упоминания в письмах №№ 8 и 9.

³ 29 марта 1928 г. отмечалось 60-летие со дня рождения Горького (день рождения Горького — 28 марта 1868 г.).

⁴ Имеется в виду Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 марта 1928 г. — «Правда», 1928, № 76, от 30 марта.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГОРЬКОГО ПАСТЕРНАКУ НА КНИГЕ «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА», Ч. 1. М., ГОСИЗДАТ, 1927¹

Пожелать вам «хорошего», Борис Леонидович? Боюсь — не обиделись бы вы, ибо: зная, как много хорошего в поэзии вашей, я могу пожелать ей только большей простоты. Мне часто кажется, что слишком тонка, почти неуловима в стихе вашем связь между впечатлением и образом. Воображать — значит внести в хаос форму, образ. Иногда я горестно чувствую, что хаос мира одолевает силу вашего творчества и отражается в нем именно только как хаос, дисгармонично. Может быть, я ошибаюсь? Тогда — извините ошибку.

Искренно желающий вам *всего* хорошего

А. Пешков

30.XI.27.

¹ Печатается по беловому автографу на странице из блокнота. Позднее Горький написал этот текст на книге «Жизнь Клима Самгина», посланной Пастернаку. Книгой с дарственной надписью АГ не располагает. Опубликовано в Собр. соч. в т. 30 как письмо Горького Пастернаку (№ 881).

II. ПРЕДИСЛОВИЕ ГОРЬКОГО К ПОВЕСТИ ПАСТЕРНАКА «ДЕТСТВО ЛЮВЕРС»

Борис Пастернак — сын талантливого художника ¹, который был близок со Львом Толстым, отлично иллюстрировал его роман «Воскресение» и дал ряд ценнейших, артистически тонких пастелей, изображающих Толстого в его домашней обстановке.

Пастернак Борис — поэт, заслуживший — как нельзя более оправданно — эпитет «оригинальнейшего» поэта. Его стихи, всегда своеобразные по ритмам, с неожиданными и капризными рифмами, отличаются, по заявлению некоторых критиков, «перегруженностью, перенасыщенностью образами», что нередко делает их даже трудными для понимания. Но, вчитываясь в них, поражаешься богатством и картинностью уподоблений, вихрем звучных слов, звоном своеобразных рифм, смелым рисунком и глубиной содержания. Его уже считают «мэтром», он обладает силою влиять на других поэтов, ему подражают, у него учатся, и он занял, неоспоримо, прочное место в истории русской поэзии XX-го века. Сам он, как все истинные художники, совершенно независим, это «человек, который родился и умрет со своим лицом».

«Детство Люверс» — одно из первых произведений Пастернака в прозе. Оно написано так же, как стихи его, тем же богатым, капризным языком, изобилующим «перегруженностью образами», задорным и буйным языком юноши-романтика, который чувствует свое искусство более реальным, чем действительность, и с действительностью обращается как с «материалом».

Все, что живет, движется, звучит, все, что видимо и осязаемо, Борису Пастернак служит именно и только материалом для того, чтоб посредством описания и противопоставления «реальностей» он мог выразить свои эмоции художника, свою интуицию, домысел о тайнах его внутренней жизни, о волнениях и горении его духа. Он чувствует себя живущим вне мира общезначимого и общепринятого, а замкнутым в самом себе. Он в своих глазах почва, для которой впечатления бытия являются только оплодотворяющим дождем. Солнце — в нем, это — его дух, его душа.

Его задача — рассказать о самом себе, о солнце в нем, о том, как он видит себя в мире. Он, конечно, видит себя центром мира, который оценивается им как мир его видений. Он, разумеется, вполне солидарен с лучшим романтиком XIX века Генрихом Гейне, который сказал:

«Каждый человек — целый мир, под каждым могильным камнем погребена всемирная история»². Допустимо, что эта оценка поэтом человека — неправильна, ибо — слишком высока. Лично мне кажется, что эта дерзкая оценка прекрасна и человек заслужил ее.

Заслужил, потому что, каков бы он ни был, — он, в конце концов, всегда мученик истории, мученик тех условий, которые созданы не им, но для него, тех наследственных качеств, которые ему приданы предками, привычек, воспитанных им в себе, предрассудков, в рабстве которых он живет.

Но, кроме того, что уродует человека, в нем живет нечто протестующее против всего, что мешает ему быть лучше, чем он есть. Часто — очень часто — в своем стремлении быть лучше, человек становится еще хуже. Это — грустно, но это — так. И в этом не один он виноват. Люди, привыкшие судить ближних по фактам, были бы более справедливыми судьями, если б умели догадываться о мотивах фактов. Мы все усердно ищем людей хуже нас и очень торопимся признать их таковыми.

Это своеобразное и, в сущности, преступное коллекционерство, имея целью подчеркнуть воображаемые добродетели за счет действительных пороков, очень увеличивает пороки и — только. Романтизм, бунтуя против реального мира, великодушнее к человеку. По наивности, воспитанной мною в себе, на протяжении почти уже шестидесяти лет я думаю, что каждый человек имеет законное право бунта против условий бытия и против себя самого, против существа, психика которого тоже обусловлена бытием, но в которой уже коренится излишек, побуждающий каждого из нас думать: что я должен сделать для того, чтоб и жить и быть лучше?

Мы знаем, что существуют люди, которые не только рассуждают на эту тему, но и пытаются «совлечь с себя ветхого Адама», уничтожить в себе древнего зверя.

Романтик Борис Пастернак, стремясь рассказать себя, взял из реального мира полуребенка, девочку Люверс и показывает, как эта девочка «осваивала» мир. На мой взгляд, он сделал это очень искусно, даже блестяще, во всяком случае — совершенно оригинально.

Английского читателя трудно удивить изображением милой и забавной путаницы в душе ребенка, который «осваивает» мир, делает его понятным для себя; я знаю, что англосаксы умеют писать о детях всегда лучше, чем художники других рас. Но мне кажется, что Пастернак умел сказать нечто свое и очень значительное. «Детство Люверс» может быть прочитано не только с интересом, но можно надеяться, что эта книга разбудит много хороших мыслей о маленьких людях, которых мы весьма беззаботно вводим в наш огромный, но все-таки тесный, шумный, но не очень веселый мир.

<Сорренто. Между сентябрем 1926 г. и сентябрем 1927 г.>

Печатается по черновому автографу. Датируется по письму Горького Пастернаку от 4 октября 1927 г. (письмо 2) и письму к М. Д. Беляеву от 15 декабря 1926 г., в котором Горький писал: «С моими предисловиями должны еще выйти: том прозы Пушкина, „Детство Люверс“ Пастернака, „Одеты камнем“ О. Форш и ряд других авторов» (АГ). См. письмо 2, прим. 2. В письме к В. Ф. Ходасевичу от 13 августа 1925 г. Горький писал: «Прекрасная вещь „Детство Люверс“ Пастернака. И хорошо издана» («Новый журнал», Нью-Йорк, 1952, № XXXI, стр. 205).

¹ Леонид Осипович *Пастернак* (1862—1945).

² Цитата из «Путевых картин», ч. 3, гл. XXX: «Ведь каждый отдельный человек — целый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним, под каждым надгробным камнем — история целого мира» (Генрих Гейне. Собр. соч. в десяти томах, т. 4. М., Гослитиздат, 1957, стр. 224).